



Доктор Лиза

Год назад 25 декабря при крушении самолета Ту-154 возле Сочи

погибла Елизавета Глинка. Это имя слишком известно, что бы его объяснять. Её личность, её действия по спасению людей, оказанию им помощи заслуживают нашего внимания и нашей благодарной памяти. Предлагаем вам отрывки её дневника. Она пишет не о болезнях, не о ледяном дыхании смерти. Она пишет о любви. Она пишет так ёмко, так точно называет вещи своими именами, что прочитав эти строки, хочется пойти и сделать кого-то хоть чуточку счастливее. Особенно в эти светлые праздничные дни.

«Раймонда»

Их у меня в хосписе было трое. Мама Елена и двое детей. Елене – чуть больше сорока.

Детям – двадцать и двадцать три.

Они всё время в палате с умирающей мамой. Сын возил её гулять на коляске и уходил из хосписа поздно ночью. Дочка приходила утром, потом бежала на занятия – и снова в хоспис.

Я уже даже не воспринимаю Елену одну – она слилась со своими детьми, или они с нею. Дети похожи на птичек. Наверное, про таких говорят «инфантильные». Что-то в них было от совсем маленьких детей. Наверное, то, как они разговаривали с мамой, как радовались тому, что ей удалось самостоятельно посидеть несколько минут.

О диагнозе и прогнозе знали. Видно, что не верили или надеялись на чудо. А чуда не было. В данном случае не было.

Отца нет, есть бабушка. Её я не видала – она лежала в другой больнице. У детей гуманитарное образование: девочка ещё учится, а мальчик – мальчик у нас балерун. Он танцует в театре оперы и балета. Эти дети почему-то вызывали у меня щемящее чувство жалости. Они говорили «спасибо» и здоровались со всеми посетителями, открывали двери всем, кто проходил в хоспис после них. Они всегда со всем соглашались.

Я знаю, что они нуждаются, но никогда ни о чём не просили. Они привыкли к тому, что на Украине не принято пока помогать тем, кому помочь уже нельзя.

Мы – хосписные – потерпели поражение в борьбе. И с болезнью, и с существованием. С этим стерпелась не только я, но и мои больные. Правда, удалось мне привести к ним в палату очень богатого человека. Он пришёл к нам и выразил желание помочь самым-самым... Это трудный выбор. Но привела к ним. Сказала Елене: «Ради детей попроси, он сделает».

На мой вопрос: «Леночка, что бы господин Н. мог для вас сделать?» – она ответила: «Мой мальчик танцует в «Раймонде» 28-го числа. Обязательно посмотрите... Вам понравится».

P.S. Я вот не могу этого забыть никак.

Карасики

Самуил Аркадьевич Карасик и Фира (Эсфирь) Карасик. Одесситы, Бог знает как оказавшиеся к старости в Киеве. В хоспис он привез её на коляске, тщательно осмотрел все комнаты и выбрал ту, что светлее, но гораздо меньше других палат.

– Фира любит солнце. Вы знаете, какое было солнце в Одессе? – Карасик задира голову и смотрел на меня, щури хитрые глаза. – Нет, вы не знаете, доктор. Потому что тут нет такого солнца, в вашем Киеве.

– Шмуть, не забивай баки доктору, – вступала Фира, – она нас так не возмет сюда.

После этого следовала перебранка

двух стариков, и вставить слово было практически невозможно.

Оглядевшись, Карасик объявил, что завтра они переезжают.

– В смысле, госпитализируетесь? – поправила я.

– Пе-ре-ез-жа-ем, доктор. Карасики теперь будут жить здесь, у вас.

Наутро перед глазами санитарки стоял Карасик в шляпе и галстуке и Фира в инвалидной коляске, державшая на коленях канарейку в маленькой клетке.

– Это наша девочка, она не будет мешать.

Санитар из приемного молча нёс связку книг, коробку из-под обуви чешской фирмы «Цебо», на которой было написано от руки «Фото», рулон туалетной бумаги и аккордеон.

– Мы насовсем. Вот и привезли всё, чтобы не ездить по сто раз.

– Послушайте, Карасик, насовсем не получится.

– А! Доктор, я не маленький мальчик. Отстаньте.

Так и переселились. Фира не выходила из палаты, по вечерам мы слышали, как они подолгу разговаривали, смеялись или ругались между собой.

Карасик, в отличие от жены, выходил в город и рвал на клумбах больничные цветы, которые потом дарил своей Фире, заливая ей про то, как купил их на рынке. Но цветы, понятное дело, были не такие, как в Одессе.

Общаясь с ними, я поняла, что Одесса – это такой недостижимый рай, в котором всё лучше, чем где-нибудь на земле. Селедка, баклажанная икра, погода, цветы, женщины. И даже евреи. Евреи в Одессе – настоящие. Про Киев Карасик смолчал.

Один раз они спросили меня: «А вы еврейка, доктор?» Получив отрицательный ответ, хором сказали: «Ах, как жалко, а ведь неплохая женщина».

Потихоньку от меня Карасик бегал по консультантам, убеждая взять Фиру на химиотерапию, плакал и скандалил там. А потом мне звонили и просили забрать Карасика обратно, так как он не давал спокойно работать.

Карасик возвращался, прятал глаза и говорил, что попал в другое отделение, перепутав этажи. Он регулярно путал второй этаж с седьмым, поскольку не верил, что Фира умирает. И очень хотел её спасти, принося разным врачам заключение от последнего осмотра.

Вечером Фира играла на аккордеоне, а Карасик пел что-то на идиш.

А потом Фира умерла. Карасик забрал свои немногочисленные вещи. Канарейка живёт у меня в хосписе. А его я встречаю иногда, когда езжу в Святошино на вызов.

Про Гусь-Хрустальный

350 км от Москвы. Другая жизнь.

Девочка Оля, к которой нас вызвали, ждала нас трое суток, не потому, что мы такие хорошие, а потому что за девятнадцать лет её жизни к ней никто не приезжал. Никто.

Она лежит поперек дивана в холодной комнате. Отопления нет. Рано, видимо, включать. Администрации виднее всегда, что, кому и когда надо.

У девочки метр роста, двадцать пять килограммов веса и единственная левая рука, которой она поздоровалась с нами.

Она знает наши имена. Мама ей сказала, что мы приедем. Она спросила, кто это будет, и выучила имена, чтобы поздороваться.

У неё карие глаза, которыми она внимательно следит за всеми. Оля говорит и понимает, как девятнадцатилетняя нормальная девушка. Она понимает, что другая. Не больная, больной она себя не считает. Она другая.

Не нужная никому, кроме матери.

Вот вам холодные факты. Стиральной машины нет. У неё три пары колготок.

Пенсия – три тысячи рублей. Она хочет фотоаппарат. Снимать комнату, кроме которой у неё ничего нет. Маму. Попугая на подоконнике. Маленький телевизор. Окно с жизнью за ним.

Она улыбается. Как малыш. Тянет свою крохотную ладошку. Смеется, когда я ей рассказываю, что мы ехали к ней со скоростью сто километров в час.

Что у них? Долги, окно, в котором дыры. И любовь. Иначе бы они не жили.

Ссуда, взятая в банке, чтобы не умереть с голода.

На вопрос: «Оленька, а что ты любишь?» – она отвечает просто: «Кушать». Не шоколад, не фрукты, а просто еду.

Больше я ничего писать не буду. Потому что я не могу. Правда, не могу.



Рига, 1985

Лена

Рояль занимает большую часть комнаты. Сначала на нём лежали ноты, позже поверх них появилась икона. Потом ещё одна. Потом ещё. Иконы видно с кровати, на которой лежит наша больная.

Когда еще толькоходишь в квартиру, понимаешь, что для живущих здесь дочь – центр их домашнего мира.

«Леночка любит...» – далее мать перечисляла

то, что любит Леночка. Как росла и как училась, как стала пианисткой.

«На этом рояле она занимается с восьми лет», – говорила мать, держа дочь за руку. Или за колено, худобу которого скрывала пижама, или за стопу, на которую был натянут носочек, тоже болтавшийся на ней, и мать его поправляла. Чтобы не было холодно. И чтобы не отпускать.

«Папа готовит мне еду, а мама все время со мной», – Лена и её мама улыбались и рассказывали нам о том, что было съедено за время, прошедшее с нашего последнего визита.

«Сергей тоже готовит», – это о муже Лены. Он ходил за бесконечными рецептами и, понимая всё, сумел до самого конца продержаться – любя, борясь не только за день, а за каждый прожитый ею час. Их час вместе.

Тетрадка, где маминым почерком перечислено выпитое и съеденное. «Половинка мандарина». «Сок». «Вода». Температура по часам. Пульс и давление.

«Я их так люблю. Всю мою семью. Маму, папу, Сережу».

Находясь около больного, я стараюсь никогда не задаваться вопросом «За что?».

Случилось – значит, случилось, и нужно помочь, пока можно помочь. Иначе невозможно.

В этом доме, пропитанном любовью, этот вопрос всё-таки вырос откуда-то, напрочь выбив наработанную привычку не думать о причинах.

Лена была похожа на оленёнка: точёная фигура, тонкие руки и огромные карие глаза. Хрупкими были и её взгляд, и голос, но мир, который она создала вокруг себя, был чётким, устойчивым, и имя тому миру – любовь. Я не могла представить, что будет с ними, тремя людьми, когда она уйдёт. Она, как будто чувствуя это, переживала один день за другим. Вопреки логике и прогнозам.

В предпоследний вызов Петрович отзвонил и сказал мне: «Приезжай. Это конец». И ошибся.

Не представляю, какими силами, но она пережила ту ночь. И ещё пять длинных ночей, пока не перестала дышать совсем.

Я не знаю, что сейчас на её рояле. Сергей вчера приезжал в наш подвал.

Он сделал большую фотографию, с которой смотрит она – их Лена.

Со слов Сергея, все как-то держатся. Втроём.

Ее силой и той любовью, которую она им оставила вместо себя.

«Лиза, я их так люблю. Маму, папу и Серёжу».

